

# Салыр-Гюль -2/ продолжение

Category: Kitapcy, Ýol ýazgylary  
написано kitapcy | 24 января, 2025  
Салыр-Гюль -2/ продолжение II.

«ХАРИФ МЫСЛИ»

Поезд бросил меня в самую середину ночи и ушёл. В станционном зале засиженная мухами скука. С дорожным мешком через плечо иду, как диктует указка: выход в город.

Но до города семь километров. Как быть? Невдалеке, куда кое-как дотягиваются лучи вокзальных огней, какой-то тёмный короб. Из-под короба чужие ноги. Починка захромавшего автобуса. Вскоре внутри его появляются: гудение и свет.

Решаю ехать. На ночное свидание с Регистаном.

Вскрик сирены, и жёлтые огни мчащихся фонарей начинают прорывать голубоватую тонкую сеть луны. По краям шоссе бегут карликовые домики. Справа и слева наклоняются, припудренные пылью, лиственные парики деревьев.

Несколько крутых дезориентирующих поворотов, потом скат, вкат – и авто тушит огни. Регистан.

Две небольших площади – как два форельных пруда – со стекающими из верхней в нижнюю ступеньками. Иду, как влечёт меня течение ступеней. Вот они – три древних каменных громады, ставших по трём краям прямоугольной площади: медресе Улугбега, Тилля-кари, Шир-дор. Наконец-то я их вижу не со страниц книги, а с земли Маверраанагре. Их изразцы и сейчас – при притушенном свете луны – отливают рыбьей чешуёй. Минаретовые реки Улуга – широким архитектурным жестом – протянуты вверх. Каменные кулаки их сжаты.

Простоять так пять веков, не меняя позы, согласитесь... Но даже и сейчас видно, хотя бы по тени, что минареты этой медресе чуть наклонены вперёд.

Может быть, это усталость камня, а может быть, замысел строителя, который заранее, предвидя долгую жизнь медресе, построил ему и усталость от неё.

Кстати, надо всё-таки отыскать пристанище. Где-то тут под входной аркой Тилля-кари база ОПТЭ. Но сейчас все двери наглухо. Два пополночи.

Возвращаюсь на верхнюю площадь. Она в окружении смутных – за расфрамуженными стёклами – огней. Подхожу, волоча рюкзак, к одному из них.

Вывеска: Късьл Сај-хапа.

Под вывеской, за стеклом, точно в витрине, выставка манекенов-посетителей чайханы. Посетители не из воска и бумаги, а из крови и плоти. Но они разложены – в манекенной неподвижности на уступах внутричайханного помоста.

Прохожу по деревянным мосткам через шепелявый арычок, в переулок, ответвляющийся от площади. И здесь. За столбами навеса, под мягким светом лампы, укутанные в жёлтые блики, лежат экспонаты чайханы, очевидно, к полуночи превращающейся в ночлежку. Вероятно, это грошовое заведение, но сейчас, когда шёлковый свет и ночь смешали свои краски, нельзя различить, истёрты ли ковры чайханного приюта и грязны или новы, целы или рваны халаты спящих. Пёстрая груда тел, чалмы, вдавленные в чёрно-красную орнаментику подушек, смутные узоры ковров, подостланных под спутанный – дыханиями и видениями – клубок снов, купленных за медь тиinov – всё это кажется какой-то искусно срежиссированной феерией, живой картиной, рассчитанной на тысячеглазый зрительный зал и аншлаг. И мне, единственному, видящему сейчас это, даже неловко. Что можно тут поделывать, располагая всего лишь парой глаз.

Из-за гигантского самовара, тоже спящего с потушенными углями и понуренной трубой, неслышно приподнимается хозяин ночлежки. Он предлагает мне место на нижнем уступе. Но я отхожу: главное схвачено, а дополнительные подробности, в виде укусов вшей, не обязательны. Возвращаюсь на площадь. Мешок оттягивает руку. Позволяю ему опуститься наземь и сам сажусь поверх. Буду ждать зари.

Как ждут поезда.

Прямо против глаз спиной к луне стоящая Шир-дор: прямоугольные плечи питаба, голова под рубчатой каменной чалмой; позади, чуть отступив в перспективу, две башни.

Книги – удивительная вещь: они помогают нам вспоминать о том, чего ещё не было. Так сейчас, глядя на верхний край питаба, я даже не могу различить очертаний старой персидской надписи, но уже вспоминаю её, – слово вслед слову: «...и такое медресе соорудил он на земле, что та возгордилась его высотой перед небом: и в несколько лет не долететь до верха этой арки орлу ума, как бы он ни напрягал своих крыльев; даже череда карнов (поколений, веков) – слишком малый срок, чтобы искуснейший хариф (вор мыслей), забрасывающий свою верёвку с крюком на конце на стены домов, смог забраться на вершину этих башен. Когда зодчий выгнул свод этой арки, то само небо, исполнившись удивления, прикусило свою новую луну, как палец.

И так как Ялангтуш-Бахадур был основателем медресе, то год постройки его назван именем Ялангтуша-Бахадура».

Кажется, так. А теперь, пока ночь не израсходовала всей своей тьмы, попробую (всё равно, сидя на мешке, не уснёшь) прокомментировать тёмные места надписи.

Начну с конца. То, что год и строитель оказались тёзками, уже освещено историографами. Попросту каждая персидская буква имеет и цифровой смысл: сложив буквы как слагаемые, получим сумму: тысяча двадцать какой-то год – по-нашему, начало XVII века.

Что касается до неба и его способности удивляться, то она, очевидно, не исчерпана: каждый раз, завидев при блеске своего новолунного пальца башни Шир-дора, оно снова прикусывает его, и палец-луна неизменно пухнет, вспучивается синим нарывом, пока его – на четвёртой фазе – не прорвёт.

Слова о харифе, искусном воре, пытающемся забросить свой крюк на вершину Шир-дора, очень внушающи. Работать ему, конечно, удобнее всего по ночам. Так что сейчас как раз время, спрятавшись в длинной тени медресе, в полном безлюдье, разматывать свою воровскую лестницу.

Бедный хариф, он, как и я, зябнет теперь и не спит у тёмного срыва питаба. Может быть, ему удавалось иной раз добраться вот до этого арочного выступа, но южные ночи короче верёвки вора. Утро, будящее стражу, конечно, прогоняло ширдорского харифа, пока с наступлением ночи он снова мог приняться за свою

работу.

Надпись говорит о карнах – о поколениях – харифского труда. Значит, вор передавал свой замысел сыну, а тот сыну сына харифа. Чего они добивались, эти поколения похитителей? Что можно украсть, забравшись на каменную крышу громады? Допустим, можно прикарманить широкий кругозор, открывающийся сверху вместе с рассветом. Но зачем? Чтобы тотчас же быть изловленным на кругозоре, как иные изловлены на мирозерцании. Глупый вор, вздумавший выкрасть себя самого, свою личность: вот ты и пойман с поличным.

Так и надо.

А как надо?

Прежде всего – и вор, выдуманный древней надписью, должен это запомнить – не следует быть «искусным»... для искусств. Вот, например, нынешние ташкентские вокзальные воры тоже пользуются, формально следуя традициям харифа, верёвкой с крючком на конце. Но забрасывают свой крюк они не искусства ради, а во имя идей утилитаризма.

Кстати, пора блюсти точность комментария. Ялагнгушевская надпись к родовому понятию харифата не забывает прибавить видовой признак. Она говорит о «воре мыслей». Есть и такие у нас. Мы их называем плагиаторами. Но работают они совершенно в иной технике. Зачем взбираться на высоты похищаемого, когда можно под него подкопаться, пролезть в смыслы снизу. Да, завтра надо будет непременно пойти в Биби-ханум, там, во внутреннем дворе – я читал – хранится каменный гигантский пюпитр для Корана (ещё тимуритских времен). Непопулярные женщины протискиваются в щель меж камнем пюпитра и землёй. Это, говорят, способствует зачатию. Не знаю, насколько лазейка под каменным пюпитром оправдывает чаяния верящих в приметы узбечек. Но плагиаторам это помогает. Проползши под любой книгой любого пюпитра, они рожают. Не зачав: беспорочно.

Но если притянуться ещё на строку выше, читаем: «И не долететь до верха этой арки орлу ума, как бы он ни напрягал своих крыльев». Это и есть награда: не долететь.

Но что там, за минаретами Шир-дора. Как будто первая проступь рассвета.

Да, яснее выконтурились спады камня. Где-то вдалеке заревел ишак. Дверь чайханы открылась. Заспанный чайханщик с ведром в руке. Он опускает ведро в арык и выплёскивает из него поперёк улицы. Ещё и ещё. Надо предупредить проснувшиеся подошвы и копыта и прибить пыль к земле. Встаю и разминаю затёкшие ноги. Пора. По диагонали через площадь. На карнизе медресе копошится стайка молодых ворон. Это не воронята мысли, а так, просто проснувшаяся воронова детвора. И всё вообще просто. Вхожу в арчатую дверь экскурсбазы.

## МАЗАРОБАЗАРЬЕ

Большинство городов страны, прислоненной к Памирам, – из двух частей: средне-азиатской и посредственно-европейской. Последняя всегда из последнего тянется быть не последней, не хуже европейских согородов. Но обычно ей это плохо удаётся: на книжных витринах прожелклые от солнца новинки ещё нэповских времён; музеи, иной раз напоминающие физический кабинет довоенной гимназии, с его ржавыми магдебургскими полушариями и набором батавских слёзок; и таков, например, музей естествознания на улице Энгельса в Самарканде; двухэтажные «центральные почты», стоящие с видом небоскрёбов. Но если всхожесть домов на здешней почве пока не велика, то деревья зато растут здесь буйно. Прекрасны просторные парки европейской половины Самарканда и длинные, вдоль шеренг домов – аллеи ташкентских белокожих тополей.

Но ведь когда там, у себя, в Москве, под железной крышей, мечталось о поездке в Узбекистан, то из плана воображенного странствия железные крыши были вычеркнуты. За их привычность и... немечтабельность. Помню даже ту радость, с какой я замечал, как аксансирконфлексный угол кровельных скатов Москвы у Джуруна из прямого стал тупым, а за Оренбургом постепенно растянулся в прямую: начиналась страна плоских кровель, к которой я ехал.

Старые города Востока нельзя назвать – так мне кажется – ни шумными, ни тихими. Шумы и тишины здесь врозь друг от друга, чета крик и молчь живут «на разных половинах».

Когда вы попадаете в базар, то выйти из него не так легко: продавцы заывают в лавки – нищие призывают к милосердию – ослы кричат о тяжести ноши – покупатели громко негодуют на дороговизну – шипят ворочающиеся на вертелах кебабы – стучат молотки кузнецов и лудильщиков – поют бродячие певцы – и сквозь всё, вместе с чередой верблюдов, проходящей через базар, неустанный звон колокольцев, раскачиваемых в такт шагу. Сначала вы слушаете, подставляя ухо, как пиалу под зелёную чайничную струю... Но базар продолжает полнить слух пестрейшими смесями звуков. Вы хотите уже уйти хотя бы в полузвучье, звукотень. Уши ваши переполнены.

Вы сворачиваете с площади в изгиб улицы. И здесь перестук молотков, топот копыт, рёв звериный и вопль человеческий. Ещё поворот. Но базар идёт по пятам. Казалось бы, изнуренный узким переулком он должен вот-вот оборваться. Нет, переулок вдруг связывается с другими переулками в узел площади – и снова навстречу отовсюду – и из-под навесов лавчонок, и прилавочных ступенек, с ковриков и циновок, разостланных по земле, многоголосая симфония базара.

Таков Киш-миш, базар в Ташкенте, рассовывающий свои запахи, пестроты и шумы, как по карманам, по сложному переулочью. Таковы самаркандские торжища, вращающие свои гомоны вокруг Чаар-су, как вокруг раскрипевшейся оси. И рынок Бухары, который, спустившись со ступеней Мир-араба, протягивается затем от площади, как по кишкам, длинющим систему желудка, по узким улицам, то и дело ныряющим под глухие купола Таки-зергарона, Таки-тилпака и Соррафана.

Как раз возле Соррафана мне и довелось наблюдать примитивную базарную рулетку: она была похожа на небольшой круглый стол, вдруг завращавшийся на своей ножке; от края к центру, разделённые сбегающимися радиусами, стояли синие и чёрные цифры. Выждав, когда столик остановится, игроки, столпившиеся вокруг рулетки, расставляли свои медяки, серебро и мятые рублёвки по отдыхающим номерам. Затем хозяин толкал диск снова, и вместе с номерами начинали кружить отделяющие цифру от цифры выступы гвоздей. Сбоку из надставки, высунувшись, как шпага Мюнхгаузена, отсчитывающая дробь верстовых столбов,

торчало острое, пёстрооперенное перо. Сперва оно шуршало, быстро скользя по мчащимся мимо столбикам, затем движение постепенно замедлялось – теперь можно было видеть, как перо, выгибаясь при встрече со столбиком, всё неохотнее и неохотнее уступает ему дорогу; вот оно будто и решило остановиться на этой вот чёрной цифре, но медленно пододвинувшийся гвоздь отстраняет гибкую преграду; значит, синяя? Нет, остаток инерции пододвигает ещё одну железную вертикаль: это последняя схватка двух борцов, гибкого пёрышка со сталью – дюжина приостановленных дыханий – и гвоздь, с трудом дожимая противника, бросает перо, распластанное теперь поверх неподвижной чёрной клетки.

Почти в такую же игру, находясь на кружащей шаги и голоса базарной площади, можно сыграть с переулками, сбегаящимися в площадь. Помню, я поставил на чёрное, на тишину – и выиграл. Несколько поворотов по первому попавшемуся переулку – базар как отрезало: я стоял перед одетым в молчание и тени старинным мазаром, «усыпальницей святого». Вокруг, сросшись стенами, молчала глина домов; все их дверные створы были поджаты друг к другу, как губы молчальника; о двухэтажности домов можно было только догадываться, так как окон не было (если не считать редких и узких прорезей). Вокруг не было ни единого человека; даже зеленовато-серая пыль не показывала мне ничьих следов, кроме моих. Только у одного из порогов лежал спящий пёс: разбуженный, может быть, моим запахом (я стоял неподвижно), он приподнял голову, но не залаял. Казалось, молчание мазара распространяется вокруг, оно центробежно, в противоположность центростремительной, звукособирающей силе базара, сметающего невидимой метлой все шумы и пришумья старой Бухары – от Каршинских ворот до Тали-пача – в себя.

Это не единично. Даже в относительно шумных (по сравнению с Бухарой, разумеется) Ташкенте и Самарканде мне нетрудно было отыскать и даже нанести на схематические планы городов – россыпью чёрных точек и пятен – «узлы молчания». Ведь когда струна даже звучит, на ней есть точки совершенно неподвижные и никак не участвующие в звучании: это её, так сказать, струнные мазары.

Археолог Вяткин утверждает, что теперешнее расположение улиц Самарканда почти совпадает с планом Тимуровых времён. Только русла базарных улиц, несущих на себе основной человеческий поток, были несколько распрямлены и расширены во второй половине отошедшего века.

Молчание щелисто-узких улочек, прилегающих к мавзолею Гур-эмира, мазара Ходжи Даниара над обрывистым берегом Сиаба или иных тупиков старого Ташкента совсем иного тембра, чем тишина замоскворецких тупиков и переулков. Отстой молчания, здесь, на Востоке, гораздо гуще и наслоённое.

Производились опыты, подтвердившие предположения некоторых физиологов и лингвистов, что мы всегда мыслим вслух. Особыми вогнутыми звукособирающими поверхностями удалось добиться того, что мышление – правда, лишь на отдельные мгновения – было сделано слышимым. Очевидно, при возникновении в мозгу того или иного звукового (особенно словесного) образа, голосовые связки дают строго соответствующую, но чрезвычайно слабую вибрацию. Со временем, усовершенствуя эти звукоусилители, может быть, мы научимся вылавливать мышление из-под глухо сомкнутых черепных костей, выводить в звучание всё, – до мыслей, таимых не только от других, но и от себя. Скоро ли это будет, не знаю, но знаю, что иные, ведущие в конденсированную тишину зигзаги старых узбекских городов являются естественными резонаторами того внутриголовного шёпота, который мы называем мыслью. Эти «узлы молчания», колодцы беззвучия почти что возвращают уху ещё не сказанные слова. Принцип эха, который, вероятно, ляжет в будущем в основу конструкции чувствительнейших мыслеотражателей, уже сейчас отражён в сконструированности иных узбекских слов, передающих тишайшие звучания, граничащие с беззвучием: джилдир-джилдир (cildir-cildir) – слово, изображающее журчанье арыка; чир-чир (cir-cir) – звукоподражание стрекоту кузнечиков; шатыр-шатур (satyr-satyr) – шелест листьев; буль-буль (bul-bul) – соловей, соловьиное пение.

Если углубиться несколько далее во время и в Восток, то мы найдём в истории Китая несколько отрывочных сведений о древнейшем (VI век до нашей эпохи) философе Фу-ги, авторе



книги «И-Кинг», который, пытаясь зарисовать «молчание земли», изобразил его в виде двух, повторяющих друг друга, тушью нанесенных линий. А именно так: – - .

## АРКА И КУПОЛ

При приближении к Самарканду меня встретила тугоизогнутая мостовая арка, анахронистически называемая Тамерлановой. Сейчас, когда я возвращаюсь, после обхода самаркандских раритетов, к себе в хуждру медресе Тилля-кари (почти все экскурсбазы Узбекистана расположены в старинных духовных университетах), я прохожу через арчатые ворота, вводящие в прямоугольный выстланный древними плитами двор медресе. Всякий раз я приношу толстый слой пыли на сапогах и яркое кружение арабесок в глазах.

Впрочем, за арабесками, орнаментами из цветных кирпичиков и узорами поливы незачем и ходить. Стоит только сесть на пороге моей кельи и смотреть: внутренние стены двора под пёстрым налётом арабических извитий.

Многоповоротные узоры из кирпичных уступов и спутавшихся линий чем-то напоминают многоповоротность и запутанность улиц старого Самарканда, и вся стена похожа на план восточного города. Мысли нетрудно заблудиться в этом настенном городе линий. Орнаментальные узоры, разыгранные в тональности сине-зелёного, или жёлто-белого, незаметно для глаза переходят в фигурные буквы цитат из Корана, а излом лесенок цветной кирпичной кладки столь же нежданно превращается в древние куфические надписи.

Как расшифровать трудные шифры восточного узора? Я пробовал было так: прямая есть кратчайшее расстояние между двумя точками а и б; арабеск самая длинная из всех возможных линий, какими можно соединить а и б. Синие изгибы на стене как будто бы и соглашались со мной, но самой своей выгибью напоминали: слишком прямолинейно для истины; по крайней мере, для восточной истины.

И мне вспоминается побасенка, которую я слышал недавно в чайхане: жили-были правда и неправдивый человек; правде было

противно встречаться с неправдивым, а неправдивый боялся встретиться с правдой; и они ходили всегда по разным сторонам улиц – человек по левой, а правда по правой. Но однажды человек подумал: «А вдруг я попадусь на глаза правде – лучше отойти в сторону». Но и правда тоже подумала: «Лучше мне отойти в сторону, а то ещё чего доброго встречу недоброго». И они оба – правда и человек, – чтобы не встретиться, сошли с пути – и оттого встретились.

Но я тоже сошёл с пути. Возвращаясь к теме. Когда узбекский дехканин сеет рис или насаждает овощи, сев и рассада у него стеблятся тесно, потому что земли у дехкана мало, в обрез. Но и рука художника, засеявшая растительным орнаментом вертикальные поля узбекистанских мадрасс, действовала так, как если б пространства ей было отпущено в обрез. Среди немногих сохранившихся имён встречаются персидские и даже китайские. Трудно поэтому дознаться, существует ли в данном случае хотя бы дальняя психологическая тропа от навыков обработки поля омачом к художественной проработке проблемы заполненности пространства.

Но сейчас не только в глазах, в мыслях пестрит от собранных в память линейно-точечных сложностей. Лучше о чём-нибудь простом, как... полукружье купола или выгиб арки.

Эти два образа неотступно следуют за мной из города в город и из улицы в улицу, давая зрительные реплики почти на каждый поднятый взгляд. В сущности всё пространство всех узбекских городов – от поверхности земли до поверхности кровель исчерчено арчато-купольным росчерком.

Если, взяв в руки лук, постепенно оттягивать его тетиву, то полуэллипс лука начнёт круглиться; можно прервать натяжение именно в тот момент, когда выгиб лука будет близок к окружности: это поперечное сечение купола; но если длить выгибание лука так, чтобы преодолеть его коэффициент упругости, лук хрустнет и сломается как раз в центре кривой: линейный момент его гибели и будет – арка. Если в этом будет участвовать и правильно наложенная на тетиву стрела, то направление её точно совпадает с направлением линии, называемой в архитектуре: стрела арки.

Какой-нибудь житель Бухары, встав поутру, пьёт свой утренний чай из чайника с арчатым заострённым носиком и, вынув из ножен свой забравшийся внутрь ножен вместе с рукояткой нож, режет его двусторонним арчатой формы лезвием овощи. Затем, надев поверх тюбетейки арчатой формы шляпу (они именно сейчас очень распространены в Бухаре), он берёт стоящий в углу заступ, имеющий постепенно суживающийся к концу в виде арки форму, и идёт по хозяйству во внутренний двор. Здесь его ждёт арба и лошадь. Подобрал на заступ осыпавшуюся со стены глину, он впрягает лошадь в арбу; хотя лошадь и не пойдёт под верх, но на спине её закрепляют тяжёлое седло с торчащим из него большим – строго арочной формы – деревянным придатком. Можно выезжать. Шум рынка доносится уже из-за стены двора. Но бухарец забыл туфли, он возвращается за ними, и тут – не бухарец, разумеется, а глаз стороннего наблюдателя видит, что даже стельки, вдетые в туфли, вырезаны по аркообразному шаблону, подтверждённому рядом синих или красных линий, в виде системы арочек, вписанных одна внутри другой. Бухарец выезжает на площадь, что у Каляна. Образ арки, спрятавшийся под пятками владельца арбы, точно выпрыгнув со свесившейся туфли, разворачивается теперь гигантскими арками противостоящих друг другу фронтонов мечетей Калян и медресе Мир-араб.

Если подойти ближе к их сломанным каменным лукам (бухарец опять-таки и не подумает этого сделать – ему надо продать свои овощи, и только), то внутри арочных вдужий высоко над землёй глаз различит ячеистой формы каменную лепку, взбирающуюся под самый арочный слом; это мастерски проработанная – во всех возможных вариантах – уже не плоскостная, а стереометрическая аркограмма. Если затем войти внутрь арочной навеси во двор медресе, то вошедшего сразу же окружают легко взнесённые в виде аркообразных сферических треугольников окна келий вдоль внутренних стен медресе. Если... но так можно продолжать до бесконечности. Вся жизнь жителя старого узбекского города, точно в арочном плену. И даже когда он умрёт, его понесут на кладбище, что за городской стеной, покрытой арочно-подобными зубцами, и заруют в землю столь знакомой ему арковидной лопатой, прикрыв, если только покойный был достаточно богат,

каменным надгробием, имеющим форму длинного ларца с острым аркообразно выгнутым верхом.

Если он богат. Но если он беден, то может рассчитывать лишь на обыкновенную полушаровидную земляную насыпь в виде неясного купола с двумя-тремя опознавательными кирпичами или обломками камней поверх. Купол, в отличие от иронически выгибающей свои каменные брови изысканной арки, более приземист, демократичен и общедоступен. Если идти в нисходящей гамме: синий купол неба – куполообразная юрта – в юрте человек в звёздчато расшитой тюбетейке, в руках у него опрокинувшийся куполок пиалы. Купол не взбирается здесь (как в зодчестве Византии) на слишком большие высоты. Каменной тюбетейкой прикрывает он все старинные здания рынков Бухары и Самарканда. С несколько даже показным смирением обнажает он своё плоское глиняное темя над мазарами исламистских святых. Не брезгует круглиться над грязной водою полуврытых в землю бань. В медных, вдавленных в очаги куполах, называемых казанами, спокойно созревает под паром паляю (плов) и беспокойно ворочается с боку на бок мёртвый баран.

## ПИАЛА У ГУБ

Из всех куполов Узбекистана глаза мои, пожалуй, больше всего сдружились с маленьким фарфоровым куполом пиалы. Почти весь туркестанский день проходит в игре в прятки с солнцем. Отыскиваешь себе завесу тени и прячешься в неё.

Но солнце, пошарив горячими пальцами, вскоре тебя находит и отдёргивает чёрную завесу. Ты найден. И игра начинается снова. Были, вероятно, времена, когда какой-нибудь метр тени ценился дороже метра шёлка. Производство теней, заблаговременное изготовление их в нужном для хозяйства и жизни количестве – предмет величайших забот местного населения. Окна всюду узки и сощурены, как узки и сощурены глаза жителей степей. Насаждаются, в целях теневодства, деревья, при мечетях (как при старой Биби-ханум) строятся особые каменные навеси, защищающие от удара солнечных лучей. Но самое лучшее средство от жары – ничегонеделанье в чайхане. Чайхана вдвигается в

улицу – поперёк движению – своими деревянными помостами. На помостах с наступлением дня расстилаются ковры, а сверху – в защиту от солнца – дикт и циновки. На коврах сидят люди, подогнув под себя ноги и полы халата. Рядом с ними чайники, пиалы и снятые с ног туфли. Эти плотно поджатые, с акробатическим вгибом, ноги – предмет моей зависти. Как я ни усаживаюсь, стараясь вобрать внутрь торчащие врозь колени, классической восточной позы у меня не получается. Я чувствую себя, как секундная стрелка, пересаженная на ось стрелы, отсчитывающей часы. Даже чай под крышечкой моего чайника странно медленно набирает зелёный цвет. Пока пиала ждёт чая, подставляю глаза улице.

Посредине её стоит человек в бурнусе, подвязанном пёстрой косынкой, треугольно свесившейся сзади: он погружён в газету, неподвижно впластавшуюся бумажным двукрылием в воздух. Гигантские колёса арб, трусца ослов и шарк туфель огибают газету стороной. Вот ослик, впрягшийся в корову: верёвка, одним концом прикреплённая к хомуту ослика, другим привязанная к рогу коровы, туго натянута; подрагивая ушами, маленький ишак тащит живой груз, как буксир неповоротливую баржу.

Наливаю пиалу до краёв и подношу к губам.

Но другие пьют не так. Вот двое в круглых бухарских шапках с меховой оторочкой. Они сидят друг против друга на подгибах ног. Один налил пиалу на четверть её глубины и вежливо пододвигает соседу. Тот, не торопясь, пьёт.

Затем, с видом человека, обдумывающего ответный ход, наливает чуть-чуть, у донца и возвращает пиалу. Пиала опустела, и снова лёгкий наклон чайника и новый ход неполной пиалой. Таков здесь обычай. По преданию, пророку Мухаммеду пришлось как-то скрываться от врагов в маловодной пустыне. Чаши его и его спутников никогда здесь не были полными. И в память об этом магометане пьют из неполных чаш. Мало того. Поскольку не установлено, в какой из месяцев года блуждал Мухаммед по безводной степи, то и поминальные дни рузаита (праздника, посвящённого этому эпизоду) стали блуждающими днями, с каждым годом перекачываемыми из месяца в месяц: в одном из них должны же они нагнать изгнанного пророка.

Обычай неполных пиал прорастает своими корнями гораздо глубже религии.

Не только пиалы, но и все колодцы туркестанских равнин хранят воду лишь у самого дна. Их чёрный пунктир, отмечающий караванные пути на карте, до странности редок и разрывчат. Страна блуждающих песков, ссохшихся такыров, солончаков и лесса изжаждалась по воде. Поверхность её растрескалась от засух. Плоские поля, точно ладони нищих, подставлены под дождь. Они просят хотя бы мелких дождинок. Тщетно. Зачастую с мая по октябрь – ни единой капли. Богара сгорает, не дождавшись влаги.

В краю, столь обделённом водой, неполная пиала является напоминанием и символом. Вопрос о «су» – вопрос жизни и смерти. За водой, как и за тенью, охотятся; ей расставляют сети ирригационных каналов, устраивают ей колодцевые капканы. Но стихия противится: она забирается под донья колодцев, прячет устья рек в песок. И Мухаммед в своём Коране не просит о неиспитии чаши. Образ этот в стране, где повсюду грозит смерть от жажды, совершенно бессмыслен.

Старинные орнаментальные надписи Самарканда называют обычно эмира или бега «тенью Бога на земле». Этим надписи льстят не только бегу, но и Богу.

Плох Бог, не осеняющий тенью, и самая светлая его сторона – это тeneвая.

По мусульманскому преданию вместе со смертью человека закрывается «книга деяний» его. Но книгу эту и после кончины можно приоткрыть, если заблаговременно составить у казия «Вакфнамэ» завещательное распоряжение о том, чтобы оставленная сумма шла на приобретение и бесплатную раздачу холодной воды, сараджу, – всё проходим, мучимым зноем.

Сама природа этих сожжённых равнин – это сплошное «моление» о влаге.

Туркестанские сухостои, чуть приподнятые над землёй, почти целиком ушли в свои корни: нити их, длинящиеся вглубь и вглубь вдогонку за спрятавшимися под почву каплями, достигают иногда очень значительной протяженности.

Это здесь кочует – среди казахских кочевий – странное растение

– странник: богородицына ручка (или перекасти-поле). Растение это сперва располагает свои ветви по радиусам от корня, расстилая их кругообразно по земле. Но когда ему настает время плодоносить, «ручка» загибает свои ветви внутрь, точно сжимает распряленные пальцы в кулак, и зажав в нём свои семена, отрывается от корня и отдается ветру. Толчки ветра несут шарообразные перекасти-поле, помогая ему разыскивать влагу. Для большинства этих растений поиски оказываются безрезультатными. Пересекая казахстанскую долину, из окна вагона можно видеть эти мёртвые восково-жёлтые, но всё ещё грозящие кулаки перекасти-поля. Полотно дороги перегородило им путь, и они погибли – в отрыве от своих рук.

Но иному из перекасти-полей удастся докатиться до влаги. Тогда зелёная рука распрямляет свои пальцы и роняет семена на землю. Для самой руки – это предсмертный, агонизирующий жест. Но семена дают проросли – и приключенческая жизнь перекасти-поля передается новому поколению.

Удивительны гидро-приспособления желудка верблюда, этого «корабля пустыни», часто – в кильватерной колонне – пересекающего сотни километров безводья. Перед отправкой в путь желудок верблюда наполняют водой – совершенно так же, как бак автомобиля – бензином. Воду из ближайшего хауза черпают бурдюками и, вставив рукав бурдюка в горло верблюда, как в воронку, запрокидывают бурдючное дно. Но вода не рассасывается в теле верблюда. Одна из частей сложного желудка животного, так называемый рубец, состоит как бы из ряда плотно составленных небольших пиал, раскрытых внутрь. Вода, поступающая по пищеводу, попадает в эти поставленные под неё углубления, и они, по мере наполнения, закрываются действием стягивающей мускулатуры.

Таким образом, запас воды оказывается распределённым по семистам-восьмистам хранилищам. По мере надобности хранилища эти – одно за другим – возвращают воду желудку. В дополнение к этой внутренней системе водозагрузки, по обе стороны верблюжьего горба снаружи подвешивают узкие бочки с водой и «корабль» снаряжён к рейсу через песчаное море.

Но мой чайник отдал всё до последней капли. Пора уходить. Я

приподымаюсь с ковра, и только сейчас замечаю прятавшуюся под моей подошвой деталь узора.

Это затейливый рисунок цветка. Кажется, розы. А может быть, и нет. Не угадаешь, настолько своеобразен рисунок. Лепестки плоского цветка женственно вогнуты внутрь, будто пряча что-то под своими вгибами. И что страннее всего – этого не затоптали наши подошвы – у каждого из лепестков своя окраска, свой цвет. Я стою, очевидно, слишком долго, наклоняюсь над ковром.

Чайханщик, путая русские слова с узбекскими, спрашивает, не уронил ли я монеты – может быть, закатилась в щель? Но человек, сидящий у стены на подогнутых костистых коленях, понимающе улыбается и кивает мне:

– Это роза Салыра, – говорит он по-русски лишь с еле заметными гортанными и носовыми призвуками, – самый древний из ковровых рисунков.

Сейчас уж его не ткут. А в садах такие и не цвели никогда. Выдуманный цветок, ха: салыр-гюль.

Я перевожу взгляд на человека, познакомившего меня с вписанным в ковёр, как в страницу пестрот, цветком: глаза под стеклом очков, чуть удивлённые вздужья сидящих бровей, высокий, прячущийся под тубетейку лоб; на губах, отговоривших слова, из-под стриженных усов выражение радушия и сугубой вежливости. «Наверно, он даже в мыслях, и даже с самим собой всегда на вы», – мелькает у меня.

– Рехмет.

Мы обмениваемся кивками. Меня уже нет в чайхане. «Салыр-гюль: надо заблокнотить. Может пригодиться». Ўol ўazgylary